





Губы его всегда сухи. Внутри его шершавого рта медленно шевелится наждачный язык, стирая в пыль последние чёрные зубы.

Глаза его покрыты мутной плёнкой, как у птицы, уши шелестят на ветру, как осенние листья. Пересохшие сухожилия с трудом соединяют его деревянные кости и иногда рвутся. По глубоким трещинам на его ладонях можно было бы предсказывать землетрясения и наводнения, гибель цивилизаций и приход саранчи. Но трещины эти занесены сухим песком, и их никто не читает.

В нём не осталось ни капли влаги. Даже в сушёной вогле есть вода, но в нём её нет совсем.

Он мог бы летать, но его унесёт ветром в незнакомые и ненужные места, и поэтому он не летает и ходит, крепко цепляясь руками за кусты. В воде он не тонет, но и не плавает — он просто лежит на её поверхности.

Он мог бы жить в космосе без всяких приспособлений. Он ходил бы по Луне, и ему там было бы даже лучше, потому что там нет ветра, который мог бы его унести. Но никто не пускает его в космос, потому что он там никому не нужен.

Он часто пьёт. Влага всасывается в него, как живой порошок Урфина Джюса, и исчезает с лёгким дымком. Он мог бы выпить море, но ему жалко тех жителей, что живут по его берегам, хотя он и не помнит, как они, эти жители, выглядят и зачем им это море нужно. Да и сами жители этого не знают.

Его не существует. Он не записан ни в каких книгах учёта и регистрации, его не замечает милиция. Спешащие куда-то люди проходят сквозь него и потом отряхивают с себя пыль, удивляясь — где это они так испачкались. Если бы он захотел купить что-нибудь в магазине, ему бы ничего не продали, даже если бы он дал им деньги. Поэтому он ничего не покупает и деньги ему не нужны. Он даже и не помнит уже, как они выглядят, эти деньги.

Но он зачем-то есть. Он медленно-медленно переставляет безжизненные свои ноги и идёт куда-то, всё

время идёт. Падает, долго лежит неподвижно, иногда много дней, потом снова между его веками появляются трещины, внутри него натягиваются полусгнившие верёвочки, и он снова встаёт и идёт.

Он не знает, куда он идёт, но знает, откуда уходит,— из сухого этого места, где всегда метёт песок и пыль, от ненужного этого моря, в котором живут мёртвые рыбы, от высохшей травы и чёрных деревьев.

Куда-нибудь туда, где всегда сыро и сумрачно, где когда-то давно жил Карло. Туда, откуда он когда-то вышел и куда он обязан однажды вернуться и снова стать тем, кем он всегда был: деревянным поленом.





## ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ БУРАТИНО

*Они нарисовали мне рот и хотят, чтобы я говорил.*

*Надели мне голову и хотят, чтобы я ею думал.*

*Просверлили глаза и хотят, чтобы я ими видел.*

*Привинтили мне нос и хотят, чтобы я этим нюхал.*

*Они натянули на меня новую кожу, чтобы мне было жарко и страшно.*

*Но когда откроется рот, я скажу им одно только слово.*

*Только одно: да пошли вы все на хуй.*



Читатель нынче совсем охуел.

Лезут все прямо из кожи вон, чтобы ему угодить. Сюжетец? — вот вам такой лихой сюжетец, что можно читать с любого места, да хоть бы и задом-наперёд. Просвещённым себя желаете почувствовать, приобретённым к тончайшим тайнам бытия и манованиям небесного эфира — так вот вам: про философский камень и про тайную мудрость, да так ловко составлено, что по прочтении вы сможете непринуждённо посещать горные выси и чувствовать себя в астральных мирах ничуть не более стеснённым, нежели у себя в сортире. Желаете чего-то особенного — так вот вам и про гавнецо-с, но тонко и со вкусом, так что безопасно читать хоть за обедом. Вы, главное, купите! Если бы учёные изобрели такую книжку, которая бы во время чтения щекотала читателю гениталий, то книжка эта пользовалась бы среди читающей публики огромным успехом.

Конечно же главным виновником такого несчастного положения является не кто иной, как подлец-



издатель, коего ничего ровно не волнует, кроме немедленных барышей — он и отца родного готов продать, завернув для лучшего вида в суперобложку, ежели посулят ему за то лишний грош. Но и ты, читатель, хорош тоже! — оглушённый криками книгопродавцев, совсем позабыл ты, что не та есть сладостная мечта, которая, задрав юбку, предлагает себя, едва отворивши двери твоего жилища, а совсем-совсем иная! Сладостная мечта требует любви и терпения, и непременно — непременно! — вложения души твоей. А впрочем, если жалко, то и не влагай. Душа потомится, перебродит и станет ещё лучше.

Да что там говорить: возьми любой самый пустяковый предмет — да хоть ложку алюминиевую и нацарапай на ней что хочешь: хоть имя своё, хоть слово «хуй» — и забрось её далеко-далеко в море, или что там у тебя под боком. Обещаю тебе, что, когда через десять лет ты обнаружишь эту ложку в немыслимом каком-нибудь месте: в ящике, например, кухонного стола женщины, которую ты видишь утром первый раз в жизни, ты будешь потрясён до самой крайней степени, и ложка эта, быть может, станет для тебя более удивительна, чем все сокровища Египетского зала в Эрмитаже.

Что, читатель, неужели не веришь, что так бывает? Если ты не дурак, то и сам знаешь, что не бывает только того, чего не бывает. А бывает всё.

Впрочем, извини: автор, похоже, и действительно впал в чрезмерное панибратство — эдак и последние читатели разбегутся! И равнодушный издатель пролистает эту рукопись: «Что за хуйню изволили написать? Вовсе не того ожидали мы от вас, любезный автор!»

И что на это возразишь — ничего, равным счётом ничего! Гол автор и беззащитен пред миром этим, сытым и пресыщенным, несёт доверчиво ему свои камушки, стекляшки и пёрышки — может, нужны кому? А не нужны, ну так и что ж? Разве перестанут они от этого быть? И уж ежели всё прах, то чем, ответьте, один прах хуже другого? Да ничем.

Но, Впрочем, довольно уже вступлений.

Засим — и с Богом.

В середине июля 200\* года, незадолго до отправления брестского поезда на платформу Витебского вокзала выбежал человек ничем не примечательной наружности. Впрочем, точнее было бы выразиться «ничем не примечательной петербургской наружности», ибо в других городах такая наружность скорее слишком примечательна — с клочковатой бородой, выросшей на лице как придётся, по всей видимости, от нерасположенности её обладателя к ежедневному бритью, в покосившихся очках (владелец, видимо, частенько на них садился или же наступал сослепу

поутру), в неопределённого цвета джинсовых штанах, давно нуждающихся в замене или хотя бы уж в стирке. Впрочем, довольно — лиц такого рода можно встретить в Петербурге на каждом шагу: порой в самой дешёвой рюмочной, в которой наливают водку в пластиковый стакан по десяти рублей за пятьдесят грамм, в Фонарных банях (ныне, увы, при странных обстоятельствах сгоревших), где брали тридцать рублей за вход, а то вдруг и в таком заведении, где одна только кружка пива стоит, может быть, столько же, сколько составляет весь месячный бюджет такого сорта господина. В этих заведениях такие характеры никогда не заказывают себе еды, сказавшись только что отужинавшими или же извинившись больным желудком. Что, однако же, не мешает им тут же изрядно нагрузиться пивом или другими напитками за чужой счёт.

Возраст их, как правило, трудноопределим: что-то между далеко за тридцать или слегка за сорок. Цвет лица их не цветущий, но и не чрезмерно болезненный, часто свидетельствует о пристрастии к горячительным напиткам, не переходящем, впрочем, определённых границ. Служат они в большинстве своём в должностях, не требующих постоянного присутствия на месте. Они часто даже вовсе почти не появляются на службе, предпочитая общаться с начальством через посредство удалённых сетей, в каковых сетях

их обычно найти весьма затруднительно, ибо переносные их телефоны всегда отключены за неуплату, а компьютерные сообщения вечно пожираются смертельными вирусами. Впрочем, в дни выдачи жалования такие сотрудники становятся вдруг слишком доступны для общения и порой появляются на службе раньше даже самых прилежных работников, где бесцельно бродят по кабинетам, терпеливо дожидаясь появления главного бухгалтера.

Получивши, наконец, жалование, они моментально вспоминают о неотложнейших делах, и уже через пять минут их можно видеть с банкой пива балтика или невское (пиво степан-разин употребляется в Петербурге чаще лицами более пролетарского сословия), задумчиво стоящими на мосту через Неву и созерцающими летящие на воздушных крыльях в Петергоф прогулочные суда или же баржи, перевозящие воду из Ладожского озера в Финский залив. Либо же их можно встретить в упомянутой уже рюмочной или в чебуречной, которая не сменила неказистый свой интерьер и неприветливый персонал ещё со времён развитого социализма; а то и просто бессмысленно сидящими на скамейке всё с той же открытой банкой пива.

Порой же они и вовсе нигде не служат, и чем добывают себе хлеб насущный — Бог весть.

В петербургском пейзаже они составляют такую же обязательную черту, как глухие дворы-колодцы,